

## СОДЕРЖАНИЕ

«Но подрастают в семьях дети...» (вместо предисловия) . . . . .	6
Мои первые книжки (1951–1959) . . . . .	8
Отрочество: в школе и дома (1960–1963) . . . . .	27
Юность и хрущевская оттепель (1964–1966) . . . . .	48
Университет (1966–1971) . . . . .	78
Погружение в безвременье (1972–1975) . . . . .	113
Уроки репетиторства . . . . .	134
И вновь об эпохе застоя (1972–1985) . . . . .	166
Гласность! Гласность? Гласность... (1986–1989) . . . . .	192
Лучшее время жизни (1989–1999) . . . . .	222
Двадцатилетье, слипшееся в ком... (1999–2020) . . . . .	258
«От всего человека вам остается часть речи...» (вместо послесловия) . . . . .	279
Указатель имен . . . . .	282

Н.Ю. Русова

# КНИГИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

Автобиография советского читателя

Новое  
Литературное  
Обозрение

Москва, 2022

УДК 028(091)(47+57)  
ББК 78.073(2)6  
Р88

Серия выходит под редакцией  
*А. И. Рейтблата*

**Русова, Н. Ю.**

Р88 Книги, годы, жизнь. Автобиография советского читателя / Наталья Юрьевна Русова. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 296 с. (Серия «Россия в мемуарах»)

**ISBN 978-5-4448-1837-4**

Как будет выглядеть автобиография советского интеллектуала, если поместить ее в концептуальные рамки читательской биографии? Автор этих мемуаров Н. Ю. Русова взялась поставить такой эксперимент и обратиться к личному прошлому, опираясь на прочитанные книги и вызванные ими впечатления. Знаток художественной литературы, она рассказывает о круге своего чтения, уделяя внимание филологическим и историческим деталям. В ее повествовании любимые стихи и проза оказываются не только тесно связаны с событиями личной или профессиональной жизни, но и погружены в политический и культурный контекст. Важная задача, которую ставит перед собой автор, — это сохранить на страницах книги свидетельство о навсегда утерянной читательской культуре.

Наталья Юрьевна Русова — профессор кафедры русского языка Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина, доктор педагогических наук. Автор книг «От аллегории до ямба: терминологический словарь-тезаурус по литературоведению» (2004), «Текст. Культура. Образование» (2009), «Тайна лирического стихотворения. От Державина до Бродского: комментарий поэтических текстов» (2005), «Кванты русской культуры: культурологический комментарий поэтических текстов» (2008), «Лексикон власти: словарь-тезаурус политических ассоциаций» (2008; с Н. Э. Гронской), «Тридцать третья буква на школьном уроке, или 33 стихотворения Иосифа Бродского» (2009) и др.

УДК 028(091)(47+57)  
ББК 78.073(2)6

© Н. Ю. Русова, 2022  
© Ю. Васильков, дизайн обложки, 2022  
© ООО «Новое литературное обозрение», 2022

*Светлой памяти моих родителей—  
Юрия Васильевича и Зои Ивановны Русовых*

## «НО ПОДРАСТАЮТ В СЕМЬЯХ ДЕТИ...» (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

*Когда пишешь, не страшно\*.*

Вот я и на «заслуженном отдыхе». Никогда не думала, что он принесет мне столько спокойной радости. Похоже, что основа для этого чувства — ощущение чистой совести, «сделала что могла». Профессиональный потенциал еще далеко не исчерпан, и в другой социальной ситуации я бы еще поработала. Однако чувство социального унижения последние три-четыре года стало почти нестерпимым. Даст Бог, закончу издание последнего проекта из 7 книг — и на этом профессиональную деятельность завершу.

Конечно, 46 лет работы преподавателем не только дали моральное удовлетворение, но и сформировали потребность в «отдаче потребителя» — нужны глаза и реакция читателя (слушателя). Без них резко слабеет стимул к творческому высказыванию. Сколько замыслов было, сколько я надеялась еще написать... И профессионального, и мемуарного, и публицистического. Все это, пожалуй, не осуществится. Губит доставшийся от отца скептицизм: зачем? кому? да и что я, в сущности, за птица, чтобы претендовать на людское внимание.

И все-таки, все-таки... Нет, конечно, просто события моей жизни вряд ли заинтересуют кого-то, кроме сына. Да и личность свою как предмет для изображения я не переоцениваю. Но вот опыт читателя, опыт одного из последних представителей литературоцентричной Советской России... Это — да, что есть, то есть.

Литература была и осталась моей страстью, это главное, что продолжает меня волновать — кроме судьбы сына. И эмоции мои на сегодняшний день идут в основном от природы (которая сейчас, к счастью, мне доступна в своей первозданности), от людей (по-прежнему невероятно

---

\* Владимир Сорокин в передаче Александра Гениса.

мне интересных) — и от книг, книг, книг... Боже мой, сколько счастья пришло ко мне от книжных страниц. Столько не было даже от путешествий, даже от живописи, даже от науки. И вот этот многолетний опыт чтения, опыт восприятия художественного слова, неразрывно переплетенный с жизненным опытом, — да, это может стать интересным. В сущности, это было бы попыткой запечатлеть очертания уходящей книжной Атлантиды. Ведь по-прежнему «подрастают в семьях дети», их нужно учить, формировать, воспитывать. А книги и разговоры о них — мощнейшее средство.

Откуда цитата? Да из Наума Коржавина, которого я люблю:

*Пусть рвутся связи, меркнет свет,  
Но подрастают в семьях дети...  
Есть в мире Бог иль Бога нет,  
А им придется жить на свете.*

(«Пусть рвутся связи, меркнет свет...». 1959)

## МОИ ПЕРВЫЕ КНИЖКИ (1951–1959)

Первое отчетливо запомнившееся литературное произведение — «Сказка о глупом мышонке» С. Маршака. Ее мне читал отец множество раз — и я, трехлетняя, неуклонно заливалась слезами после его протяжного:

*Прибежала мышка-мать,  
Поглядела на кровать —  
Ищет глупого мышонка,  
А мышонка не видать.*

Тем не менее просьбы прочитать эту сказку возобновлялись снова и снова. Почему? Причем, как теперь вспоминается, горячее сочувствие вызывал не мышонок, столь глупо поплатившийся за свои нескончаемые капризы, а мышка-мать. Так старалась угодить сыночку, так старалась! И в итоге — пустая кроватка.

Думаю, что именно тогда пришло первое ощущение несправедливости совершившегося, сострадание выдуманному герою заставило соприкоснуться с трагичностью бытия. Кстати, если не ошибаюсь, это 1951 год — не самое веселое время и для страны, и для нашей семьи. Маминому отцу, Ивану Николаевичу Павловскому, после отбывания десятилетнего срока в Ухтпечорлаге по 58-й статье еще запрещено проживание в Горьком, и он практически в ссылке — на Дальнем Востоке, в семье младшей дочери, моей тети Ляли. Мама моя из-за репрессированного отца вынуждена перейти с работы вузовского преподавателя на должность завуча в школе.

Вслух мне читали мало: родители много работали, бабушка вела хозяйство. Маме не хватало времени и терпения для озвучивания долгого книжного текста, но она часто и по самым неожиданным поводам цитировала стихи: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет — многих я запомнила с ее голоса. Позже зазвучали Блок, Андрей Белый, Есенин, Твардовский, Симонов, Евтушенко... Любовь к поэзии и мастерство

чтения, видимо, были в маминой семье наследственными: когда дед вернулся из ссылки, то часто читал мне некрасовского «Дедушку», переполненного прямыми ассоциациями с его судьбой. Это произойдет позже, а лет до пяти книжные тексты доходили до меня в основном в папином исполнении. Почему-то накрепко запомнился еще один мышонок — «Мышонок Пик» В. Бианки; в противоположность своему глупенькому маршаковскому собрату, он активно боролся за существование, и меня страстно интересовали перипетии этой борьбы.

Следующее отчетливое «книжное» воспоминание — номер детского журнала «Мурзилка», посвященный смерти Сталина. Март 1953 года, я уже умею читать, и для меня выписали «Мурзилку», с которым я обращаюсь вполне самостоятельно. Помню траурное черно-красное оформление обложки и первые строки открывающего журнальчик стихотворения:

*Не поют, не смеются дети,  
Не шумят, не глядят в окно,  
Точно солнце уже не светит,  
Так на сердце у нас темно,  
С нами Сталина больше нет,  
В черном крепе его портрет...*

(О. Высотская)

Ну и, конечно, портрет Сталина в траурных лентах. Первое смутное ощущение противоречия: в книжке — одно настроение, а дома, у всех домашних — другое. Понятно, что в семье двух «детей врагов народа» (папин отец, Василий Никифорович Русов, тоже был репрессирован, но отделался двумя годами тюрьмы в 1938–1939 годах) смерть Сталина не оплакивали.

Первый эпос в моей читательской жизни — «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого. До четырех лет я просила читать мне «Буратино» снова и снова, потом без конца перечитывала — уже самостоятельно. Почему же так полюбился именно этот текст? Главное, пожалуй, заключалось в индивидуальности и неоднозначности характеров всех персонажей. Ведь нечто симпатичное было даже в лисе

Алисе, даже в Дуремаре. В сущности, и Карабас-Барабас нарисован не полностью черной краской, а где юмористические черточки (борода, которую можно обмотать вокруг дерева, финальная лужа под дождем), там и неосознаваемое сочувствие к персонажу. Почему-то больше всего негатива выпадало на долю Пьеро. Нитье я презирала с тех пор, как себя помню. Это подкреплялось и постоянным маминым «Не ной!» в ответ на мои жалобы (правда, редкие и скоро совсем исчезнувшие) на трудности из-за пониженного слуха (двусторонний неврит слухового нерва доставил мне много бед и сложностей, но также рано научил сопротивлению и упорству).

В Буратино же я была просто влюблена! Обаяние независимости и активного действия — к этим человеческим качествам я питаю непреодолимую слабость до сегодня.

И, наконец, «Золотой ключик» впервые позволил мне осваивать и осознавать жизнь в ее разнообразной протяженности, ощущать прелесть прихотливого сюжета, притяжение интриги, ждущей разрешения. Почему-то интрига в русских сказках, которые я тоже очень любила и хорошо знала, была лишена непредсказуемости — сказочное действие катилось по заранее известным рельсам.

Вторым эпосом (если достаточно условно и широко понимать под последним повествование о событиях, внешних по отношению к автору) стал «Незнайка» Н. Носова. Обаяние этого текста тоже действовало неотразимо: помню, как в школьной библиотеке во время «читательских часов» любимая библиотекарьша целый месяц озвучивала нам, первоклашкам, приключения малышей и малышей из Цветочного города и какая тишина царила в маленьком зале среди книжных стеллажей. А на первом курсе университета мы с друзьями в студенческом общежитии будем устраивать коллективные читки «Незнайки на Луне», и, господи, какой хохот сопровождал носовское изображение капиталистических порядков! Все воспринималось наизнанку — вот вам прямое доказательство неразрывной связи «детской» и «взрослой» литературы, лишь бы и та и другая были со знаком качества.

К моим пяти годам все родственники и друзья знали, что для Наташи книжка — лучший подарок. Прекрасно помню, как во время моего осеннего гостевания в Веллуге в том же 1953 году одна из моих многочисленных теток подарила мне «Елку в Сокольниках» А. Кононова

(замечу, к слову, что теткин отец был расстрелян в годы ежовщины...). «Елка» тоже из первых книг, прочитанных самостоятельно. Замечательные иллюстрации Н. Жукова запечатлели «лучистую улыбку» Ильича, весело подкидывающего вверх малышку около елки. Так началось долголетнее постижение Ленина, преклонение перед которым постыдно долго не покидало меня — вплоть до того, что в 1970-е годы я обзавелась пятитомником воспоминаний о нем, на редкость унылых и безликих. Да, обрабатывали нас умело. Чего стоят темы курсовых работ, которые мы с моим однокурсником писали в первый университетский год, весной 1967 года: я — «Ленин о литературе», он — «Ленин и Горький». Уже тогда мне хватило соображения понять, что Владимир Ильич никакой не филолог (отталкивало, хотя и чем-то привлекало его панибратски-покровительственное отношение к моему кумиру — Льву Толстому, настораживал примитивизм литературных вкусов), и я добросовестно вчитывалась в «Философские тетради», пытаюсь отыскать там некие путеводные нити для понимания солженицынского «Ивана Денисовича», который в нашем доме занимал одно из почетнейших мест...

На 50-летие Октябрьской революции (1967) мы с моим любимым двоюродным братом Сережей отправились в Питер (Ленинград). Из-за пониженного слуха я накрепко запоминала редкие самостоятельно услышанные фразы на улицах. Ленинградские демонстранты несли — среди множества плакатного официоза — несколько нестандартных ленинских изображений, в том числе известную фотографию с рукой, поднятой к козырьку кепки. «Владимир Ильич приветствует...» — сказала пожилая женщина подруге, сказала тепло, искренне и, конечно, без малейшей иронии.

Да, очень долго развеивался туман этого морока, трудно копились крупицы подлинного знания подлинной истории. В перестроечные годы на советского (тогда еще советского!) читателя хлынул поток разоблачений культовой ленинской жизни и личности. На моих книжных полках встанут и обстоятельные, объективно отстраненные, но кровоточащие тома Д. Волкогонова, и неистовый Владимир Солоухин, и яростная Дора Штурман. Но больше всего поразят впервые ставшие доступными тексты самого Ленина, его приказы, распоряжения и записки 1918 и 1919 годов: эта непостижимая жестокость, кипящая ненависть, высокомерное пренебрежение к конкретным человеческим судьбам и одержимость утопической мечтой о «Земшарной республике

советов»... При знакомстве с разоблачительной книжной лавиной мне вспомнятся известные с дошкольных лет эпизоды с кудрявым Володей Ульяновым, например тот, когда он, спрятавшись в укромном уголке, последовательно откручивает все четыре ноги только что подаренной деревянной лошадке. В нашем детстве сие интерпретировалось как похвальный исследовательский интерес к окружающему.

Чего я и сейчас не могу принять в антиленинской литературе, это легкомыслия и цинического зубоскальства. Личность Владимира Ильича представляется слишком крупной и трагической, смысл и предназначение его жизни не сводятся к одному разрушению; в конце концов, не будем забывать о том, насколько значима для истории и судьбы России эта фигура.

До сих пор помню сюжет и пафос «Голубого винтика» (1955) А. Донченко, прочитанного еще до поступления в первый класс. Дошколятам из детского садика устраивают экскурсию на тракторный завод — из-за детских споров, кто из их родителей главнее для изготовления тракторов. Мама главной героини, Софийки, ввинчивает на конвейере последний по счету крохотный винтик, но без него трактор не двинется с места. Девчушка торжествует: вот какой важный винтик вкручивает в трактор мама!

Ну почему доньше помнится эта, в сущности, не самая умелая прививка тоталитарного сознания? Неужели уже тогда в детском подсознании таился протест — люди (я, мама, папа, бабуся, дедушка) вовсе не винтики? И смешно гордиться такой «винтичной» причастностью? Нет, конечно. А вот помнится до сих пор, помнится со стыдом и жалостью. Уже на склоне лет я буду рассказывать своим студентам об этих детских впечатлениях, и аудитория затихнет и задумается.

На пороге школы был прочитан и Гайдар. После «Сказки о Мальчише-Кибальчише», с ее революционной романтикой, льющейся из ритмизованных фраз и буквально завораживающей маленького читателя, наступила очередь интригующей, строгой и сдержанной «Судьбы барабанщика». Кстати, в этой повести, написанной в страшном 1938 году, запечатлены не столько пафос поиска врагов и страх перед их возможным присутствием в твоей жизни, сколько одиночество и сиротство подростка, потерявшего по воле несправедливой и непонятной силы самых близких людей и вынужденного самостоятельно нащупывать

необходимые нравственные опоры. В 2000-е годы я прочитаю о «стране Гайдара» в воспоминаниях Б. Сарнова «Скуки не было», порадуюсь его влюбленности в этого писателя и в очередной раз приду к выводу о неисчерпаемости подлинно художественных текстов — попросту говоря, о необходимости и плодотворности их многократного перечитывания.

Я росла в гуманитарной семье: отец — психолог, мама — филолог. Неудивительно, что Пушкин сопутствовал мне буквально с младенчества, тем более что мамина кандидатская диссертация была посвящена его романтическим поэмам. Сказки Пушкина для меня в три-четыре года еще не имели авторства, сливаясь с общим «сказочным» потоком. Но вот в последнее дошкольное лето в лесу на Свято-озере (где наша семья вместе с семью-восемью другими проводила отпуск в палатках — и эти отпуска стали одними из драгоценнейших жизненных впечатлений) мама в ответ на мои нескончаемые просьбы «что-нибудь рассказать» говорит: «Ну хорошо, хочешь, расскажу тебе о дяде и тете, которые любили друг друга?» И читает мне «Онегина» в отрывках — с письмом Татьяны, с дуэлью, с письмом Онегина, с финальным объяснением. Свое потрясение помню до сих пор. К тому же читала мать изумительно, лучшего чтения я в своей жизни не слышала. Когда мы вернулись в город, я потребовала себе «Онегина» полностью. И прочитала взахлеб. Больше всего подействовала, конечно, волшебная красота и легкость стиха. И — Татьяна. Лет шесть после этого (до 12 лет) она — моя любимая героиня. Я кинулась тогда и к биографии Пушкина (помнится, у нас был синий томик Н.Л. Бродского 1937 года издания). То, что его жизнь, в сущности, прекрасное произведение искусства, видимо, интуитивно ощущалось, потому что перечитывала я эту биографию (написанную вовсе не детским языком) снова и снова. Классе в восьмом отец принесет мне из библиотеки Пединститута увесистый вересаевский двухтомник «Пушкин в жизни» — и, боже мой, до чего величественной и в то же время близкой казалась его фигура!

А когда я училась в четвертом классе (1958), мама ведет меня в кино — вышел фильм «Евгений Онегин» по опере Чайковского. Слух мне тогда еще позволял воспринимать музыку, и Чайковский, конечно, сразил наповал, вплоть до того, что я пыталась перед домашними разыгрывать сцену с няней...

Мама, кстати, сначала посмотрела фильм без меня, и как я помню ее восторженные восклицания: «Наташка, какая Татьяна! Какой Ленский!» Живая непосредственность эмоционального отклика — вот что пленяло в ней прежде всего. Она была главным человеком моей жизни, боль от ее безвременного ухода в 59 лет (1979) со мной до сих пор. Ее суждения стали камертоном для всех моих тогдашних и последующих этических оценок. Любовь к книгам, природе, постоянный интерес к людям — все это от нее. Она знала о неизбежности своего преждевременного ухода и очень тосковала после второго инфаркта, спровоцированного диабетом. «Все хорошо, Наташа, но мало, мало...» А я пыталась утешить ее Твардовским, чьего «Теркина» она очень любила и часто читала вслух отдельные главы:

*Не о смертном думай часе,  
В нем ли главный интерес?  
Смерть — она всегда в запасе,  
Жизнь — она всегда в обрез...*

Потом, видимо, мама внутренне смирилась, и мужество ее последних двух лет поражало даже врачей. Накануне смерти мы с папой и братом поговорили с ней через окно реанимационной палаты интенсивной терапии — она улыбалась. Отец не успел утром к ней в больницу, она ушла без него, он опоздал буквально на несколько минут, но упрямил врача пустить его к ней. Тот разрешил — мама улыбалась...

Дома потрясенный отец сказал мне: «Как она улыбалась... Фантазия!»

Воспоминания затягивают в себя, как в воронку: слишком многое всплывает перед листом бумаги... Но попробую все-таки придерживаться взятого направления.

Так вот, «Онегин». Он со мной до сих пор, знаю его чуть ли не наизусть. В детстве домашние смеялись над моей влюбленностью в Татьяну, особенно иронизировал над этим «романтизмом» Сережа, которого я безуспешно старалась заразить и портретом, и письмом, и благородством пушкинской героини. Но вот классе в шестом до меня стала доходить ирония Пушкина, его бесстрашие в изображении пошлости и трагизма жизни — и Сергей начал прислушиваться ко мне:

*Она езжала по работам,  
Солила на зиму грибы,  
Вела расходы, брила лбы...  
и т.д., и т.п.*

А потом, потом... В юности я всей кровью почувствую, что нет лучшего изображения всепоглощающей страсти, как в письме Онегина:

*Нет, поминутно видеть вас,  
Повсюду следовать за вами,  
Улыбку уст, движенье глаз  
Ловить влюбленными глазами...*

Это гениальное «глаз — глазами»...

Да, много, много было моих «открытий» в этом неувядаемом, волшебном, бездонном тексте. А сейчас... Сколько мужества мне придает последняя строфа:

*Блажен, кто праздник жизни рано  
Оставил, не допив до дна  
Бокала полного вина,  
Кто не дочел ее романа  
И вдруг умел расстаться с ним,  
Как я с Онегиным моим.*

В зрелые годы я познакомлюсь со знаменитыми комментариями В. Набокова и Ю. Лотмана к «Евгению Онегину», причем безоговорочно отдам пальму первенства Юрию Михайловичу — первенства интеллектуального, эмоционального, читательского. А в 2020-м с восхищением прочитаю «Немого Онегина» Александра Минкина, отчаянно смелый, непривычный, остроумный и местами очень глубокий «роман о поэме». Пушкинскому тексту скоро исполнится 200 лет, а он не просто остался живой и неотъемлемой частью сознания почти каждого русскоговорящего, но до сих пор вокруг него кипят мысли, эмоции, страсти, ассоциации, до сих пор он загадка для внимательного читателя.

Мое детство — это послевоенные годы, 1948–1955. Отец не только прошел Великую Отечественную «от звонка до звонка», но и участвовал в «освобождении» Прибалтики (был в армии с 1939 года). Многочисленные военные герои и книги о них сопровождали меня до 1960-х годов. И почему-то ничто так не запало в детскую душу, как скромный томик в бумажной обложке цвета хаки: «Повесть о сыне» Е.Н. Кошевой. Почти сразу же я прочла «Молодую гвардию» А. Фадеева, но эмоционального потрясения практически не последовало. Записки Елены Николаевны покоряли безыскусственностью, не подчеркнутым, не надрывным, но тем сильнее хватающим за сердце материнским горем, гордостью за так жданного и любимого единственного сына. Доныне помню строчку оттуда (жаль, книжка затерялась): «Мой сын, которому не было и 16 лет, лежал передо мной седой...»

Конечно, было преклонение перед подвигом, было тайное допрашивание себя: «А я смогу?» Но запомнилось мне и первое в жизни сопоставление книги и похожей действительности, «лично знакомой и известной». Дело в том, что растила меня лет до восьми Кока — старшая сводная сестра бабуси, маминой матери. Елена Алексеевна Чупрунова — Кока — очень меня любила (кстати, она первая указала матери на мой физический недостаток: «А Наташка-то не слышит!»). Но жизнь ее сложилась трагически: рано овдовев, всю любовь и надежды она отдала единственному сыну, Коле Чупрунову. И когда он пропал без вести в первый же год войны, Кока не выдержала — начала пить. К моим семи-восемью годам жить в нашей семье ей стало не по силам, и она ушла «на квартиру», где вскоре и умерла. Помню, как она, пьяненькая, подходила к каменным воротам в наш двор и подзывала меня «поговорить». Я подходила, но пьяных я страшно боялась, и свидания эти были мучительными.

В разговорах с мамой я, как могла, защищала Коку, и однажды мама, не выдержав, бросила: «А помнишь Елену Николаевну? Какого сына потеряла! Но ведь не доходила до такого...» Только довольно долгое время спустя я нашлась, что ответить. Горе Е.Н. Кошевой было «на миру», сын ушел признанным героем, ее, как могли, поддерживали все — и официально, и неофициально.

Да, «Молодая гвардия»... И роман Фадеева, очень популярный, кстати, входивший в школьную программу, — его не просто читали, его герои были любимыми для множества моих сверстников: для

кого — Олег (как для моей ближайшей студенческой подруги Сони), для кого — Сережка Тюленин, для кого — Уля Громова. Позже, много позже откроются светлые и темные тайны краснодонского подполья, я буду увлеченно и взволнованно отыскивать разные подробности, но святость этих подростков для меня очевидна и незыблема до сих пор. Кстати, в детстве я одолевала чудом сохранившийся в нашем доме первый вариант фадеевского романа, и накрепко запомнилась его стремительная компактность и эмоциональное единство. Очень жаль, что растрепанная книжка в бумажной обложке не сохранилась — конечно, последующая переделка «Молодой гвардии», выполненная по сталинскому велению, сильно ее ухудшила.

Чего я только не перечитала в те годы о войне! Запомнилась «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого (она входила в учебную программу по литературе для четвертого класса), «Повесть о Зое и Шуре», написанная их матерью, Л. Космодемьянской, «Это было под Ровно» Д. Медведева — о легендарном разведчике Николае Кузнецове. Были еще бесчисленные биографии молодых героев — Саши Чекалина, Лизы Чайкиной, Александра Матросова. Свидетельствую: послевкуские художественности осталось только после романа Фадеева. А уж такие вещи, как, например, прочитанный несколько позже и знаменитый в свое время «Тарантул» Г. Матвеева, отталкивали, помимо голого примитива словесной ткани, откровенной фальшью, резавшей даже детское ухо. В помянутом пухлом детективном томе повествовалось о поимке фашистского агента в блокадном Ленинграде, причем все муки голода, мороза, обстрелов были не просто затушеваны — отсутствовали напрочь. А я прекрасно помнила страшные рассказы своего двоюродного дядьки, привезенного к нам в Горький из Питера поздней осенью 1941-го, бабушкин ужас перед его тогдашней худобой и сетования на то, как трудно было его накормить — ел он беспорядочно.

Что-то, наверно, осталось от беспорядочного поглощения таких разных по художественному качеству текстов. Главное было, как видится сейчас, в нравственной безусловности описанного в них действия. А мужество и сила характера — что ж, они необходимы слишком во многих жизненных ситуациях, а книжки воспитывали по крайней мере уважение к этим чертам.

К моим семи годам томики, попадавшие мне в руки, никто уже не контролировал, я безнаказанно рылась в глубинах всех полок

родительского книжного шкафа. Жуткое впечатление от некоторых страниц фурмановского «Чапаева», тех, где описываются издевательства белых над пленными красноармейцами, стоило мне первой детской бессонницы. На этих страницах была правда, которая не просто обжигала, но физически отталкивала от человеческой жестокости. Тогда, кстати, состоялось в моем сознании еще не отрефлексированное столкновение двух реализмов: Фадеева и Фурманова, столкновение правды художественного вымысла (пусть и частичного) — и правды факта.

При всей уже в дошкольном возрасте сформировавшейся любви к поэзии не могу обнаружить никаких оставшихся в детской памяти стихов о войне, кроме, пожалуй, симоновского «Сына артиллериста» (которого я и сейчас рекомендовала бы включать в школьные программы для младших классов — мальчишкам приключения Леньки гораздо ближе, чем пейзажная лирика) да совершенно забытого ныне стихотворения М. Исаковского «Слово о России». Существенно, что на наших школьных уроках слово «Россия» было из текста изгнано и всюду заменено «Отчизной»:

*Советская Отчизна,  
Родная наша мать!  
Каким высоким словом  
Мне подвиг твой назвать?..*

Искренность текста, созданного в 1944 году, казалась несомненной, и это действовало. А все-таки трудно поверить, что той же рукой написана одна из самых гениальных песен о Великой Отечественной — «Враги сожгли родную хату...»

Русские народные сказки (и не только русские) были моим постоянным чтением класса до четвертого, да и позже я их с удовольствием перечитывала. Многие сборники помню на глаз, на ощупь, на запах. Трудно сформулировать причины этого пристрастия, тем более что и «взросло-го» чтения в эти годы было предостаточно. Особенно привлекали сказки волшебные, насыщенные приключениями, «неведомым и невиданным». Нравилось разнообразие сюжетных узоров, вышитых по единой канве, но всякий раз по-разному, гармоничное сочетание нарратива и языка,

психотерапевтический эффект благополучной развязки, и главное, пожалуй, пленяли характеры центральных персонажей — Ивана-дурака, Василисы Премудрой, Бабы-яги. Формировались первые представления о противоречиях национального характера: внешнее может (чуть ли не должно!) противоречить внутреннему, придурковатость оборачиваться красотой и удальством, лень и растяпистость — способностью к подвигу и упорством, женщина может (и должна!) быть умнее и сильнее мужчины, стать его опорой и надеждой...

К сожалению, сказки с элементами абсурда дойдут до меня много позже — в моем детстве они попросту были недоступны, за исключением великолепных текстов К. Чуковского — «Путаницы», «Крокодила» и прочих. Д. Хармса и Н. Олейникова я буду читать уже в 1980-х своему сыну, радуясь его ненасытному веселому удовольствию. Гениальная «Алиса» Л. Кэрролла войдет в мой читательский пантеон навсегда, так же как многие песенки В. Высоцкого, которые он написал для радиоспектакля «Алиса в Стране чудес», очень популярного в мои студенческие годы. Донею в сложных ситуациях напеваю:

*Зачем, зачем, сограждане, зачем я Кролик — белый?!  
Когда бы был я серым — я б не бегал, а сидел...*

И аккомпанементом к нынешним воскресным телепередачам вспоминается хрипловатый баритон:

*Падайте лицами вниз, вниз!  
Вам это право дано:  
Пред Королем накройте ниц, —  
В слякоть и грязь — все равно!..*

Когда на лекциях мне понадобится проиллюстрировать волшебную силу грамматики, на помощь придет Кэрролл (в замечательном переводе Н. Демуровой):

*Варкалось. Хливкие шорьки  
Пырялись по наве,  
И хрюкотали зелюки,  
Как мюмзики в мове...*

Как ни странно, первые школьные годы не принесли значимых перемен в круге моего чтения, наверное, потому, что он и так был достаточно велик и расширялся по другим причинам. Разве только упомянуть довольно стойкое, с третьего по пятый класс, увлечение астрономией? Ему способствовало постоянное посещение детской библиотеки, которая располагалась рядом с нашим домом, на соседней улице, и куда я, конечно, ходила самостоятельно. Помещение ее и лица приветливых библиотекарей помню до сих пор. Они никогда не ленились поговорить с ребенком, искренне (дети это чувствуют всегда) заинтересоваться его мнением о прочитанном, посоветовать новую книгу. Я перечитала все, что там было «астрономического», и не фантастику, а научно-популярную литературу. Отчетливо помнится увлекательнейшее «Солнечное вещество» М. Бронштейна — и как отзовутся эти детские впечатления, когда уже в 2000-е годы я прочитаю трагический «Прочерк» Л. К. Чуковской о своем расстрелянном муже.

Одним из аппетитнейших кусков моего книжного пирога оказались романы Ж. Верна: «Дети капитана Гранта», «20 тысяч лье под водой», «Таинственный остров». Впервые открылась огромность мира (я даже рисовала на глобусе маршрут экспедиции Гленарвана) и реальные подробности постоянной битвы за существование. Кроме того, до кончиков пальцев проникало редкое удовольствие «делания», которым пропитан «Таинственный остров» — пожалуй, одно из лучших пособий для воспитания радостного трудолюбия. Помню еще чувство счастливого удовлетворения: оказывается, плохих людей (таких, как Айртон) в мире очень мало — по пальцам пересчитать (да и те могут исправиться).

Вопреки младенческой влюбленности в сказочных мышат, книги о животных не стали для меня настольными, но многие герои рассказов Э. Сетон-Томпсона запомнились надолго — такие, как гордый лис Домино, непобежденным уплывающий на льдине навстречу своей вроде бы неизбежной гибели. Звери всегда казались мне самодостаточным объектом художественного изображения, а не вспомогательным средством для разоблачения человеческих пороков. Поразившая многих в 1971 году повесть Г. Тропольского «Белый Бим Черное ухо» (в которой автор, по его признанию, надеялся высказать все, что он думает о советском обществе) тронула, но не слишком: в тексте не хватало,

как ни странно, самого Бима, его собачьей души. Той души, которая сквозила в каждой строке многократно читанного произведения моего детства — повести Д. Лондона «Белый клык».

Обычный круг детского чтения: сказки, путешествия, научпоп. В четвертом классе подошла очередь детективов: подружка дала прочитать «Собаку Баскервилей». До сих пор считаю повесть Конан Дойла «лучшим детективом всех времен и народов». Она да еще несколько позже за одну ночь проглоченный «Лунный камень» У. Коллинза на всю жизнь прививают мне страсть к мастерски написанным историям розыска, и уже в зрелом возрасте я от души соглашусь с восклицанием Ахматовой: «Ночь с детективом — это прекрасно!» Лучшего средства разрядки, интеллектуального отдыха, отвлечения от мелких бед и неприятностей просто не знаю (крупные бедствия — другая статья). Вот только детективы обязательно должны быть «со знаком качества»: с увлекательным и нестандартным сюжетом, аппетитными подробностями, живым, ярким и ненавязчивым языком. С первыми прочитанными детективами мне повезло, я получила пожизненное противоядие для отторжения низкопробного чтива, какой бы закрученной ни была соответствующая интрига, и все советские истории «про майора Пронина» и кагэбэшников с усталыми добрыми глазами равнодушно пропускались.

Нет, если автору удастся вылепить обязательного и узнаваемого главного героя и создать пусть не особо правдоподобный, но уютный мир сыщицкого розыска — такие вещи читать можно. До сих пор отдаю должное Аркадию Адамову, Николаю Леонову, Александре Марининой, Полине Дашковой. Но это, пожалуй, и все. Зарубежные детективы, которыми полны современные прилавки, отталкивают количеством усилий, которые необходимо приложить для вживания в незнакомую и чужую действительность: тем самым теряется главная функция этой литературы — функция отдыха.

Как появлялся вкус к литературе реалистической, моделирующей мир в тех событиях, портретах и подробностях, которые позволяют соотнести с книжными страницами себя, близких, окружающее? К девятидесяти годам формируется страстное желание прочитать в книге о себе, о своих подругах, о школьном бытии, его всевозможных

перипетиях — и начинаешь искать на библиотечных полках хоть что-то похожее. Отлично помню читанные-перечитанные находки того времени: «Старшая сестра» Л. Воронковой, «Васек Трубачев и его товарищи» В. Осеевой, «Октябрина» Р. Облонской, «Семнадцатилетние» Г. Матвеева.

Истории взросления необходимы ребенку, как хлеб. Да, хлеб оказывался не всегда первосортным, но он был и поглощался с завидным аппетитом. Впрочем, очень быстро эта пища перестала меня насыщать: слишком значимым обстоятельством стало качество художественной ткани. (Радостным исключением окажется трилогия А. Я. Бруштейн, но о ней несколько позже.)

Еще из опыта детского (до одиннадцати лет) «реалистического» чтения благодарно вспоминаются романы Г. Мало «Без семьи» и В. Каверина «Два капитана». Все-таки без интригующего сюжета детская книга состояться не может, а от обоих романов оторваться просто невозможно. Сочувствие и сопереживание обездоленному Реми (главному герою Мало) запомнились еще Марине Цветаевой (смотри в ее воспоминаниях «Мать и музыка»), а обаяние действия во имя страны, которым пропитаны страницы каверинского текста, живо в сердце до сих пор. Каверин доньше один из самых любимых мною советских писателей — думаю, из-за юношеской чистоты его души, которую он сумел сохранить незапятнанной. Строгая и пылкая страстность его моральных оценок заставляет меня вновь и вновь перечитывать мемуарные «Освещенные окна» и «Эпилог». При чтении полного сдержанного трагизма повествования о судьбе любимого старшего брата, замечательного медика и биолога Л. Зильбера, отбывшего срок в сталинских лагерях, сжимает горло. Очень люблю повесть «Перед зеркалом» о художнице Лизе Тураевой; на мой взгляд, редко встречается в нашей литературе столь проникновенное постижение творческой женской души и ее некротимого стремления сохранить себя живой и действующей.

Возвращаясь к «Двум капитанам», не могу не упомянуть, какое неизгладимое впечатление произвела на меня надпись, сделанная «летчиком Ч.» на собственной фотографии, подаренной Сане Григорьеву: *«Если быть, так быть лучшим»*. Кстати, в Нижнем в начале Верхне-Волжской набережной красуется великолепный памятник Чкалову, на котором выбито: «Великому летчику нашего времени»; у его подножия

я не раз разъезжала на трехколесном велосипеде. Памятник превратился в один из символов нашего города. Но это к слову. Дело в том, что помянутая надпись на фотокарточке стала моим девизом, долгое время я старалась следовать этому призыву. Сие повышенное внимание к собственной социальной успешности было вызвано вовсе не честолюбием, не стремлением услышать лишнюю похвалу. Все и проще, и сложнее: из-за моего физического недостатка (о котором я уже писала) возникало стремление найти какую-то компенсацию — отсюда и девиз...

Позже, на младших курсах университета, нам начнут преподавать латынь, и от чеканных афоризмов просто разбегались глаза. Впрочем, я стану равнодушной к выразительным изречениям на всех языках, буду выписывать их, выискивая в соответствующих сборниках, и соревноваться с друзьями в кропотливых поисках. Но латинский язык придавал этим крупицам мудрости нечто чарующее. Любимым на долгие годы (пожалуй, до сегодняшних дней) стало следующее:

*Navigare necesse est, vivere non est necesse.*

*Плывать по морю необходимо, жить не так уж необходимо.*

С годами смысл этого изречения открывался все глубже. Главное — плыть! Попросту в жизни всегда должно присутствовать творчество. Если этого нет, жизнь теряет смысл. А значит, и необходимость.

Творчество... Вопрос еще и в том, какое, для кого, зачем. Вышивание, рукоделие, садоводство, домашнее хозяйство — тоже ведь творчество или хотя бы повод для него. В конце концов, даже подготовка к преступлению может носить творческий характер. Чувствовать в себе сжигающую тебя энергию и не знать, к чему ее приложить, — мучительная штука. Выбор достойной и нравственной цели — это и есть основная задача юности.

С течением времени острота этих вопросов смягчается. К тому же для женщины в качестве выхода всегда остается ребенок — как главная ее творческая задача.

Наконец, с годами все отчетливее понимаешь, как трудно до конца сохранять обычную человеческую порядочность. И проникаешься мудростью изречения, которое в далеком детстве процитировал мне любимый дед Иван Николаевич Павловский, отвечая на вопросы шутовой Марксовой «Исповеди»:

*Живи и жить давай другим.*

Забегая вперед, не могу не упомянуть о девизе одного из моих любимых литературных героев — Антуана Тибо из романа Роже Мартена дю Гара. На его печатке было вырезано: *Stabo! — Устою!*

«Откуда я? Я из моего детства...»

Каждый, наверное, может отнести к себе эти слова Сент-Экзюпери. Еще одну вечную и лучшую характеристику детства сформулировал Пастернак:

*О детство! Ковш душевной глуби!*

*О всех лесов абориген...*

(«Клеветникам». 1917)

Повинуясь покоряющему таланту Льва Толстого, мы привыкли считать детство самой счастливой порой человеческой жизни. Не уверена, справедливо ли это. Самая значимая пора — так, пожалуй, будет точнее. Утверждение, что в детстве все переживается много острее, что первые радости с лихвой заполняют отпущенный нам резервуар оптимизма, а первые обиды и горести оставляют пожизненные рубцы, стало в обыденном сознании чуть ли не аксиомой. Но мир воздействует на формирующуюся личность значительно сильнее в тот период, когда полученные впечатления начинают осознаваться, когда рождается и крепнет рефлексия, то есть в отрочестве и юности. А вот богатство восприятия, невысказанное множество загадок, чуть ли не ежедневно перед тобой возникающих, тех загадок, которые разгадываешь всю последующую жизнь, — это и есть главная и неповторимая особенность детства. О ней и написал Пастернак.

Еще одну важнейшую сторону детского бытия подметил Маяковский в хрестоматийных и стершихся от повторения строчках:

*Крошка сын к отцу пришел,*

*И спросила кроха:*

*— Что такое хорошо*

*И что такое плохо?*

(«Что такое хорошо и что такое плохо»)

Убеждена, что именно детство закладывает этические начала личности. Ребенок всегда, осознанно или нет, стремится получить одобрение окружающих: родных, близких, незнакомых, взрослых, сверстников, даже собаки или кошки. Оно жизненно необходимо малышу, с его уязвимостью и беспомощностью, и в характере этого одобрения кроются, на мой взгляд, главный секрет и главная трудность воспитания: формирование этического камертона, к которому потом всю жизнь прислушиваешься.

Конечно, каждая семья, каждый взрослый, имеющий дело с детьми, настраивают этот камертон по-своему, ориентируясь на собственные тона и ноты. Что касается меня, то определяющими в моем общении с сыном были две ценности: во-первых, сострадание ко всему живому и, во-вторых, отчетливое признание того неоспоримого, но, к сожалению, далеко не очевидного факта, что ты — любимый, любящий, обласканный — не центр и не пуп мира, что окружающие тебя близкие и дальние тоже имеют право на свой кусок счастья и покоя...

В сущности, немного. Но этого было достаточно.

И еще одно: количество и качество времени, которое мы — взрослые — уделяем ребенку. Количество и качество нашего общения с ним. Общения самого разного — пусть будут не только и не столько разговоры, сколько совместное действие, поездка, игра, даже молчание. Никакие подарки и материальные блага не заменят подобной школы социальных, этических, культурных навыков.

В этом плане у меня было самое счастливое детство, какое только можно представить. Оно подарило мне не исчерпанный до сего дня запас оптимизма, веры в жизнь и принятия ее. Дружба с родителями — ценность, не подлежащая девальвации, и я обладала ею в полной мере.

Чего стоили хотя бы наши с братом путешествия в широкую родительскую кровать по утрам в выходные дни! Сколько было шуток, песенок, стихов, поддразниваний, кувырканий, серьезных и проказливых признаний! Совместные завтраки и обеды, семейные праздники, «взрослые» вечеринки, с которых нас никогда не прогоняли. Все свои отпуска родители проводили с нами, и эти летние дни превращались в кладовую всевозможных общих впечатлений.

«Воспитания» как такового просто не было. Были редкие, но всегда нужные, уместные и честные оценки поступков и проступков. И была

постоянная уверенность: тебя поймут. Может быть, не в силах будут помочь, но поймут обязательно.

Кто из наших классиков лучше всех написал о детстве? Общеизвестные вершины принадлежат двум Толстым (Льву и Алексею), С. Аксакову, И. Бунину, И. Шмелеву — я имею в виду «Детство. Отрочество. Юность», «Детство Никиты», «Детские годы Багрова-внука», «Жизнь Арсеньева», «Лето Господне». Печально, что в силу устаревания бытовых деталей и слишком обстоятельной манеры письма эти книги сейчас почти не читают. А жаль: в них сосредоточен неисчерпаемый запас оптимизма, любви и светлой ностальгии, чего так недостает, скажем, «Детству» М. Горького, который, по-моему, так никогда и не ощутил себя ребенком.

Радостное богатство детского восприятия мира с пронзительной выпуклой красочностью запечатлел В. Катаев в своей повести «Белеет парус одинокий». Сочувствие и сопереживание — эти важнейшие качества воспитывают такие любимые тексты моего детства, как «Гуттаперчевый мальчик» Д. Григоровича, «В дурном обществе» и «Слепой музыкант» В. Короленко (в последнем произведении присутствовал и немаловажный «отрицательный» урок — эгоцентризм Петра, больно поразивший меня в свое время). А лучшая характеристика детской да и всечеловеческой этики содержится, конечно, в «Маленьком принце» А. Сент-Экзюпери.

Пора, однако, оторваться от сей неисчерпаемой темы. Напоследок замечу только, что значимым последствием такого погруженного в книги детства, как мое, оказалось непоколебленное до сей поры убеждение: литература — важнейшая часть как окружающего мира, так и моего собственного существования. И мало что сравнится с ней по степени необходимости.